

Юрий Михайлик

Все звезды погасли

* * *

Пять тысяч верст от мысли и до мысли.
Беспутный князь, он был, конечно, прав.
И над страной столетьями нависли
невежество и злоба. Крепкий сплав.

Пять тысяч верст от мысли и до мысли.
И хорошо б отправиться домой,
пока еще дороги не раскисли –
зимой иль летом. Лучше бы зимой...

По речке, на санях, и льды зеркальны,
попутный ветер, прошлое не в счет...
Да, жаль, в Сибири реки вертикальны.
Империя. Все к полюсу течет.

А по земле – разбитых, вязких, подлых –
хотя б пяток за сутки одолеть.
На сих широтах жить, конечно, подвиг,
Здесь триста лет – учить, лечить, жалеть.

Пять тысяч верст. Да хватит ли веков
на все твои бессильные печали?
В лесах почти повывели волков,
да в городах собаки одичали.

Бессилие. Вы были правы, князь.
Империя невежества и злобы,
где в октябре – бессилие и грязь,
где в феврале – бессилие и сугробы.

Пять тысяч верст. Родные даль и ширь.
Река. Дорога. Птица-нетопырь.
И умирать глубоким стариком,
как Вяземский, не помня ни о ком.

* * *

«Что, Александр Герцович,
На улице темно?»

Все звезды погасли. И в темном
пространстве на тысячи лет –
в беззвездном, безгласном, бездомном –
летит их отторженный свет.

И в дымных провалах над миром
укрыты для новой игры
органные черные дыры –
прорывы в иные миры.

В разлете, в распаде, в разъезде –
бессветно, бесследно, темно,
но поздние гроздья созвездий
еще источают вино.

Былые звучанья, значенья
из конченного далека
в фантомном посмертном свеченье
летят и горят сквозь века,

и там, по холсту небосвода,
где пламень оплавил кусок,
стихи тридцать первого года
записаны наискосок.

* * *

О, времена как семена – они живут под спудом,
давно ушли под слой земли, и все же тут как тут..
Из темноты, из немоты, неведомо откуда
они еще произойдут, еще произрастут.

Там, в нежном городе моем, в девичьем полукруге,
где прежде был трамвайный круг и книжный магазин,
они щебечут и поют, прелестные подруги,
и аккуратно – не разлей! – в бутылки льют бензин.

В весеннем городе моем зеленою порою,
когда летит по мостовым акаций первый снег,
вовсю гуляют днем с огнем идейные герои,
а контрыдейные горят. Четырнадцатый век.

И век семнадцатый горяч – в нем сабель звон и скрежет,
над Диким полем и теперь все тот же пыл и страх,
волшебный город, подскажи, кто и кого зарежет,
и кто кому кого продаст в Стамбуле на торгах?

В моем дому, в моем дыму, всю злобу отработав,
чему еще четвертый век сумеет научить?
Довольно просто отлучить вестготов от остготов.
Довольно просто отлучить, да трудно отличить.

* * *

С легендарных времен и доныне
в крытом кровью языческом сне
тихо едет по снежной равнине
маршал Жуков на белом коне.
Полководец, любимец народа,
средневожских степей Ганнибал,
кто позор сорок первого года
к сорок пятому весь расхлебал –

шестикратным напором, навалом
напролом, на убой, наповал...
И не спрашивай, как воевал он,
да и он ли вообще воевал.
И не спрашивай, кто там в ответе
за миллионы безвестных смертей,
плюс уже не рожденные дети,
дети, внуки, и внуки детей.

Но у нас чем страшней – тем любимей.
Непреклонный подручный вождя,
он чужих погребал под своими,
никого никогда не щадя.
Воплощенная воля во взоре,
орденов золотая броня,
а вокруг – горше горького горе.
Море горя. И море вранья.

И от Волги – о да! – до Берлина
по костям, по застывшей крови
все течет эта липкая глина –
половодье народной любви.
Не с того ли под граем вороньим –
тут под Тихвином, там на Дону –
все хороним, хороним, хороним,
все никак не схороним войну.

Потому что тогда, в сорок пятом,
в долгожданное торжество,
будь он воином, будь он солдатом,
он бы вспомнил, где место его, –
не в парадном победном галопе,
не на званом обеде в Кремле,
а под Вязьмой в оплывшем окопе
и с последним патроном в стволе.